

Svetlana Polsky

РОМАН Т. ТОЛСТОЙ *КЫСЬ*: КНИГА КАК РУССКАЯ ИДЕЯ?

Книга есть жизнь нашего времени. Все в ней нуждаются – и старые, и молодые, и деловые, и ничего не делающие; дети – также.

В. Белинский¹

А чтобы поумнеть, надо читать правильные книги, черную магию и – что там еще? Все книги надо читать, тогда найдешь правильные...

Таким образом я понял, какой великий праздник „хорошая, правильная“ книга. Но как найти ее?

М. Горький²

Книга – лучший подарок, всем лучшим во мне я обязан книгам, книга – за книгой, любите книгу, она облагораживает и воспитывает вкус, смотришь в книгу, а видишь фигу, книга – друг человека, она украшает интерьер, экстерьер, фокстерьер, загадка: сто одежек и все без застежек – что такое? Отгадка – книга.

С. Соколов³

Сцена в больнице. Меня везут на процедуру. На груди у меня лежит том Достоевского. [...] Врач-американец спрашивает:

— Что это за книга?

— Достоевский.

— „Идиот“?

— Нет, „Подросток“.

— Таков обычай? – интересуется врач.

— Да, – говорю, – таков обычай. Русские писатели умирают с томом Достоевского на груди.

Американец спрашивает:

— Ноу Байбл? (Не Библия?)

— Нет, – говорю, – именно том Достоевского.

Американец посмотрел на меня с интересом.

С. Довлатов⁴

Книга вообще и литература в частности – это своего рода религия для русских. Так, П. Вайль и А. Генис пишут: „Для России литература – точка отсчета, символ веры, идеологический и нравственный фундамент. Можно

¹ В.Г. Белинский, *Полн. собр. соч.*, т. 4, М. 1954, 85.

² М. Горький, *Собр. соч. в тридцати томах*, т. 13, М. 1951, 282, 342.

³ С. Соколов, *Школа для дураков*, Ann Arbor 1976, 118.

⁴ С. Довлатов, *Записные книжки*, СПб 2001, 230-231.

как угодно интерпретировать историю, политику, религию, национальный характер, но стоит произнести „Пушкин“, как радостно и дружно закивают головами ярые антагонисты.⁵ Они же говорят, что „в России трактовка классики часто превращается в особую область духовного опыта, своего рода теологию, где текст рассматривается как зашифрованное откровение.“⁶ Благоговейное отношение к книге укоренилось в России издавна. Ю. Лотман отмечает, что „Одной из особенностей русской средневековой культуры был особый авторитет Слова. Слово совмещает в себе и разум, речь, и одно из наименований Сына Божия, и данный им людям закон. [...] Слово никогда не ставится в один ряд с другими искусствами: они получают авторитетность *извне*, от сакральных или феодальных ценностей, Слово же авторитетность присуща имманентно, как таковому. [...] В этом смысле естественно, что когда место религиозного авторитета оказалось вакантным, его заняло искусство Слова.“⁷ Он также пишет, что, заменив собой сакральные тексты, литература унаследовала их культурную функцию. Это замещение, которое сложилось в XVIII в., сделалось устойчивой чертой русской литературы. Во всяком случае до недавнего времени Россия сохраняла тот подход и отношение к книге, который существовал во время классического периода: литературе приписывались огромная власть, значение и влияние, она представляла собой нечто сакральное. Соответственно „Поэт в России – больше, чем поэт.“⁸ Лотман указывает, что „Представление о поэте как о пророке, носителе высших начал, присоединенном неким высшим авторитетом, утверждается в литературе XVIII века очень рано. [...] Тредиаковский слил англчный идеал высокого поэта с образом библейского пророка. И слияние это в дальнейшем оказалось устойчивым признаком и

⁵ П. Вайль, А. Генис, *Родная речь. Уроки изящной словесности*, 6. М., 1991.

⁶ Ibid., 69.

⁷ Ю.М. Лотман, „Литература в контексте русской культуры XVIII века“, *О русской литературе: Ст. и исслед. (1958-1993): История рус. прозы. Теория литературы*, СПб 1997, 121. См. на ту же тему: Ю.М. Лотман, „Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция“, *Избранные статьи в трех томах*, т. 3, Таллинн 1993, 127-137. В разделе „Русская культура в канун петровских реформ“ А.М. Панченко также замечает, что „древнерусский человек состоял с книгой в особых отношениях. [...] Книга подобна иконе; это духовный авторитет и духовный руководитель. [...] По средневековым понятиям, человек и книга составляли некое двуединство. При этом книга стояла выше, нежели человек.“ Там же говорится об особом предпочтении, „которое образованнейшие из „боголюбцев“ отдавали одной книге, вместившей „вечных идей.“ (*Из истории русской культуры (XVII – начало XVIII века)*, М. 1996, т. 3, 204-205, 207.) См. также: Б.А. Успенский, „Раскол и культурный конфликт XVII века“, *Избранные труды. Семиотика истории. Семиотика культуры*, т. 1, М. 1994, 333-368.

⁸ Е. Евтушенко, „Братская ГЭС“ (1965) (Цит. по: Е. Евтушенко, *Избр. произведения в двух томах*, т. 1, М. 1975, 395.) Позиция Евтушенко, надо полагать, с тех пор не изменилась. Так, в стихотворении 2005 г., посвященном Иоанну Павлу II, он пишет: „поэт – это тайный священник, нескушный священник – поэт“. (*Московские новости*, 14, 2005)

самооценки русского писателя, и отношения к нему аудитории.⁹ И далее: в XVIII веке „[...] слово ‚поэт‘ исключает профессиональность – это призвание, дар богов, вдохновение свыше, а не профессия. Такое представление восходило к античности, но решительно не было свойственно ренессансно-барочной культуре Запада.“¹⁰ Итак, поэт, вообще литератор, даже журналист традиционно обладал в России огромным общественным авторитетом, был своего рода посредником между Богом и людьми, пророком, изрекающим вечные истины.¹¹

Представления о святости, вечности, неуничтожимости книги, текста, слова восходят как к античной, так и к иудео-христианской традиции. Показательно, что существует с десятков более или менее вольных переводов *Exegi monumentum* Горация на русский язык, включая пушкинский: тема эта не теряла актуальности в течение двухсот лет, начиная с перевода М. Ломоносова, сделанного в конце 40-х гг. 18 века.¹² С другой стороны, известен постулат святости книги у евреев, у которых, например, сущест-

⁹ Лотман, „Литература в контексте русской культуры XVIII века“, *op. cit.*, 121-122.

¹⁰ *Ibid.*, 143.

¹¹ Пушкинский „Пророк“ (1826) является своего рода манифестом этого положения. Можно привести множество примеров, подтверждающих наличие этой тенденции. Так, к вариациям на ту же тему следует отнести и стих М. Лермонтова „Пророк“ (1841), и стих Ф. Тютчева „Поэзия“ (1850), где говорится о небесном происхождении поэтического слова. В XX веке поэты и прозаики, представители самых разных литературных течений демонстрируют ту же позицию. См., напр., стих А. Блока „Поэты“ (1908) или „Поэт и рабочий“ В. Маяковского (1918) или его же „Разговор с фининспектором о поэзии“ (1926), где поэт провозглашает: „Слово поэта – ваше воскресение, ваше бессмертие, гражданин канцелярист.“ (В.В. Маяковский, *Избранные произведения*, М. – Л. 1963, т. 2, 127) В. Набоков продолжает ту же традицию, когда в стихотворении, посвященном Л. Толстому (1929), пишет: „Так Господь избраннику передает свое старинное и благодатное право творить миры и в созданную плоть вдыхает мгновенно дух неповторимый.“ (В. Набоков, *Стихотворения*, СПб 2002, 342) В воспоминаниях Н.Я. Мандельштам читаем: „Выбирая род смерти, О.М. [Осип Мандельштам – С.П.] использовал замечательное свойство наших руководителей: их безмерное, почти суеверное уважение к поэзии: Чего ты жалуешься, – говорил он, – поэзию уважают только у нас – за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают...“ (Н. Мандельштам, *Воспоминания*, Нью Йорк 1970, 167) Такой взгляд на творчество и роль художника не подвергался сомнению и уцелел до сравнительно недавних времен. Еще в 1979 году герой романа Э. Лимонова *Это я – Эдичка* высказывается следующим образом: „[...] поэт издавна в России все – что-то вроде вождя духовного, и с поэтом, например, познакомиться, там – честь великая. Тут [в Америке – С.П.] – поэт – говно, потому и Иосиф Бродский здесь у вас тоскует в вашей стране и однажды, придя ко мне на Лексингтон еще, говорил, водку выпивая: „Здесь нужно слоновью кожу иметь, в этой стране, я ее имею, а ты не имеешь.“ И тоска была при этом в Иосифе Бродском [...] Понимал я его тоску. Ведь он в Ленинграде, кроме неприятностей, десятки тысяч поклонников имел, ведь его в каждом доме всякий вечер с восторгом бы встретили, и прекрасные русские девушки, Наташи и Тани были все его – потому что он – рыжий еврейский юноша – был русский поэт. Для поэта лучшее место – это Россия. Там нашего брата и власти боятся. Издавна.“ (Э. Лимонов, *Это я – Эдичка*, New York 1979, 25.) И дальше: „Поэзия, искусство – это высшее, чем можно заниматься на Земле. Поэт – самая значительная личность в этом мире.“ Эти истины внушались мне с детства.“ (*Ibid.*, 42)

¹² Последний по времени из известных мне переводов был напечатан в кн.: *Поэты-лирики древней Эллады и Рима в переводах Я. Голосовкера*, М. 1955, 170.

ует старинная традиция: святые книги, т. е. те, где упоминается имя Бога, священны; когда они рассыпаются от старости, их не выбрасывают и не сжигают, а хоронят, как человека.¹³ Есть и легенда, сохранившаяся со времен императора Адриана (II в. н. э.). В ней говорится о раввине Бен Терадионе, которого римляне арестовали за преподавание Торы и осудили на сожжение. Его обернули в свиток Торы и подожгли. Умиравший Бен Терадион увидел, что пергамент горит, а буквы, целые и невредимые, поднимаются вверх.¹⁴ Роман Татьяны Толстой *Кысь*,¹⁵ вышедший в 2000 году, во-первых, актуализирует, а во-вторых, ставит под вопрос важнейшую мифологему российского сознания: культ книги.

Читая роман, невольно задаешься вопросом: можно ли свить из него фабульную нить, как пересказать его, о чем он? Так, А. Латынина в рецензии – а это один из первых откликов на книгу – „А вот вам ваш духовный ренессанс“,¹⁶ говоря о романе как о возможной неудаче Толстой, пишет: „[...] рассказчик, игнорирующий сюжет и действие, берется за жанр [романа – С. П.], где без них не обойтись“. Она же считает, что *Кысь* „есть мастерски смешанный коктейль из антиутопии, сатиры, пародийно пересмысленных штампов научной фантастики, одобренный изысканной языковой игрой и щедро приправленный фирменной толстовской мизантропией. Роман не глубокий, но блестящий. Не больше. Но и не меньше.“¹⁷ В том, что роман блестящий, сомневаться не приходится. Но вот относительно его поверхностности возникают серьезные сомнения.

Сначала – несколько слов о фабуле *Кыси*. Время действия: где-то двести лет после Взрыва, уничтожившего цивилизацию и отбросившего тех, кто выжил, в каменный век. Место действия: городок Федор-Кузьмичск, который когда-то назывался Москва. Населяют город уроды-мутанты. Главный герой романа, молодой человек по имени Бенедикт, хвостатый мутант, состоит на должности писца. Бенедикт переписывает на бересте тексты, которые якобы сочиняет правитель Федор Кузьмич. Сохранившиеся с незапамятных времен старопечатные книги строго запрещены, считается, что

¹³ „It is the practice among Jews that when a religious book is no longer fit for use it is not destroyed but reverentially buried in the cemetery, often in the grave of a scholar or pious man at his interment.“ (L. Jacobs, *The Jewish Religion. A Companion*, Oxford 1995, 58.) „Jewish law forbids the burning of books that contain the divine name, even if they have become disused or are secular or heretical.“ (*The Oxford Dictionary of the Jewish Religion*, New York: Oxford 1997, 139.) С другой стороны, еврейские книги неоднократно подвергались сожжению не-евреями – как в давние времена (Париж, 1242 г.; Рим, 1332 и 1553 г.г.), так и сравнительно недавно (Германия, 1933 г.)

¹⁴ Раввин Бен Терадион был одним из десяти великомучеников, казненных римлянами за свою веру. (См. *The Oxford Dictionary of the Jewish Religion*, op. cit., 685.)

¹⁵ Т.Н. Толстая, *Кысь*, М. 2000.

¹⁶ А. Латынина, „А вот вам ваш духовный ренессанс“, *Литературная газета*, 47, 2000.

¹⁷ *Ibid.*

они заразные и от прикосновения к ним можно заболеть и умереть.¹⁸ Держать их дома строго запрещается, ослушника сурово наказывают: Санитары (каратели) забирают его на т. н. „лечение“, откуда он уже не возвращается. И вот впечатлительный Бенедикт неожиданно открывает для себя мир книг. Женившись на дочери главного Санитара, он получает доступ в библиотеку, которая составлена из книг, изъятых у жителей города. Он начинает читать, причем читает все подряд, что попадется. Чтение становится его страстью, идефикс, единственной целью существования, заменой всему прочему. Бенедикт закрывается в библиотеке, перечитывает книги, составляет их по-своему. Но книги скоро кончаются, и тогда встает вопрос: как жить дальше? Чтение и жизнь для героя стали синонимами, жизнь без книг не имеет смысла. Кроме того, Бенедикт маниакально ищет ту главную книгу, где сказано, „как жить“. Тогда хитрый тесть, который с самого начала видит в зяте орудие для осуществления своих далеко идущих планов, подсказывает Бенедикту простой выход: книги есть у жителей города, они их прячут и портят. Бенедикт в ужасе: „искусство гибнет“, книги надо спасать! Так он становится Санитаром, т. е. заплечных дел мастером. Тех, к кому он приходит, он безжалостно убивает, а книги их — если находит — присваивает: так пополняется его библиотека. Но этого „улова“ ему явно недостаточно: книг мало, усилия результата не приносят. Наконец Бенедикт додумывается, что книги прячет правитель Федор Кузьмич в своей башне. Вместе с тестем он проникает в башню, убивает правителя, и вся огромная библиотека достается Бенедикту. Тесть становится главным правителем, а Бенедикт окончательно запирается в библиотеке и практически оттуда не выходит. Наконец он счастлив: книг хватит на всю оставшуюся жизнь. Но вот очередное испытание: тесть требует от зятя арестовать Главного Истопника, старого друга умершей матери Бенедикта, к которому сам Бенедикт по-своему привязан. Тесть же видит в Никите-Истопнике угрозу, т. к. тот обладает замечательным даром: подобно Прометею, он дарит людям огонь. Бенедикт сначала противится, ведь Никита его старый друг и наставник. Тогда „семья“ начинает уничтожать библиотеку. Этому Бенедикт не выдерживает и предает своего друга и покровителя, ведь он спасает „искусство“. Роман заканчивается гигантским пожаром, в результате которого сгорает практически весь город, включая библиотеку. Бенедикт выживает и видит, как Главный Истопник и его старый приятель, стряхивая золу с ног, поднимаются в воздух.

¹⁸ Запрещенные государством, надежно упрятанные от глаз непосвященных книги — характерный мотив антиутопии. Присутствует он и в романе Е. Замятина *Мы* (1920), и в *Brave New World* (1932) Олдоса Хаксли, и в *Fahrenheit 451* (1953) Рэя Брэдбери.

Тип повествования – сказ – позволяет поставить *Кысь* в один литературный ряд с произведениями Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Белого.¹⁹ Интонационно *Кысь* местами напоминает и *Приглашение на казнь* В. Набокова, и *Школу для дураков* С. Соколова. Читая роман, легко заметить, что текст его буквально соткан из „чужого слова“, в нем упоминаются сотни литературных (и нелитературных) произведений – от Библии до Лимонова, от Горация до Жириновского, причем, нередко цитаты пародийно перефразируются, переосмысляются, занижаются или искажаются. Текст перенасыщен литературными аллюзиями, переполнен ими, они мастерски вплетены в живую ткань романа. Эта статья не претендует на исчерпывающий анализ литературных аллюзий или интертекстуальных связей, присутствующих в романе. Их выявление, анализ или классификация – это отдельная, увлекательная и благодарная тема, которая заслуживает специального рассмотрения. Специального рассмотрения заслуживает и символистский слой *Кыси*. Здесь же я хочу сопоставить роман Толстой с теми произведениями, которые, с моей точки зрения, имеют непосредственное отношение к самому смысловому ядру романа.

Сначала отмечу, что у писца-Бenedикта, обуреваемого всепоглощающей страстью к запечатленному на бумаге слову, были литературные предшественники. Вспомним, например, Акакия Акакиевича Башмачкина, писца из „Шинели“ Гоголя, вся жизнь которого состояла в переписыванье казенных бумаг. „Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. [...] Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало.“²⁰ Князь Мышкин из романа Достоевского *Идиот* тоже страстный каллиграф: „– [...] Я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей; даже напротив, потому что я больной человек и правильно не учился. [...] А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, и талант; в этом я просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы, – с жаром сказал князь.“²¹ Полная книжная неразборчивость Benedикта сродни литературной всеядности и другого гоголевского персонажа – Петрушки из *Мертвых душ*, который тоже имел

¹⁹ Пользуясь терминологией Б. Эйхенбаума, здесь можно говорить о сказе воспроизводящем. (См. В. Эйхенбаум, „Как сделана 'Шинель' Гоголя“, *О прозе. О поэзии. Сборник статей*, Л. 1986, 46.)

²⁰ Н.В. Гоголь, *Собр. соч. в шести томах*, М. 1959, т. 3, 131.

²¹ Ф.М. Достоевский, *Полн. собр. соч. в тридцати томах*, Л. 1973, т. 8, 24–25. О значении профессии переписчика, ее культурной семантике, имеющей глубокие исторические корни и являющей „в образах Башмачкина и Мышкина свои модернизированные ответвления“ говорится в статье М. Эпштейна „О значении детали в структуре образа. 'Переписчики' у Гоголя и Достоевского“ (*Вопросы литературы*, 12, 1984, 134–146). Он пишет, что в древних цивилизациях Ближнего Востока, так же как в средневековой Византии и Западной Европе, деятельность писца и переписчика была окружена почетом и благоговением, „поскольку она залечивала для вечности тот смысл, который был этого достоин.“ (Ibid., 137.)

„благородное побуждение к просвещению, то есть ему было совершенно все равно, похищение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, – он все читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит.“²² Напрашиваются и другие параллели. Так, „книжная“ тема проходит красной нитью через автобиографические повести Горького *Детство, В людях, Мои университеты* (1913–23 г.г.). На протяжении всего повествования герой стремится к книгам, от которых предостерегает его косное окружение, внушая мальчику, что чтение – занятие опасное и что книги до добра не доводят. Сам же мальчик постепенно понимает, какой „великий праздник, хорошая, правильная“ книга.²³ Книги не только участвуют в становлении личности героя, но и помогают ему выжить в жестоком, страшном, уродливом мире, открывают для него альтернативную действительность, намного превосходящую то, что он видит вокруг. Примечательно, что в конце повести *Мои университеты* дом, где живет герой, сгорает, а вместе с ним и книги, которые хранятся на чердаке. Рискую жизнью, Алексей пытается их спасти. В связи с последним нельзя не упомянуть тематическую связку „книга – огонь“, о которой уже говорилось в начале этой статьи в связи с еврейской притчей.²⁴ Она реализуется и в легенде о сожжении второго тома гоголевских *Мертвых душ*, и у М. Булгакова („рукописи не горят“ в *Мастере и Маргарите*), и у Р. Брэдбери (R. Bradbury, *Fahrenheit 451*, 1953), и у У. Эко (U. Eco, *Il nome della rosa*, 1980), и у А. Переса-Реверте (A. Pérez-Reverte, *El Club Dumas o La sombra de Richelieu*, 1993). Присутствует она и у Толстой.

Несмотря на то, что основным строительным материалом для романа Толстой является русская литература, нельзя не отметить целый ряд

²² Н.В. Гоголь, *op. cit.*, т. 1, 19.

²³ М. Горький, *op. cit.*, т. 13, 342.

²⁴ Символика огня имеет двойственный характер. „На одном полюсе – образ грозного, яростного, мстительного пламени, грозящего смертью и уничтожением. На другом – стихия очищающего пламени, несущего свет и тепло, воплощающего творческое, активное начало.“ (*Славянская мифология*, М. 1995, 284.) В конце концов, не следует забывать того, что Господь сошел на гору Синай „в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи“ (Исход, 19:18). На горе Синай, как известно, народу Израиля были дарованы скрижали с написанным на них священным текстом десяти заповедей, регулирующих поведение человека перед Богом. В еврейской религиозной традиции огонь часто является символом Божественного начала; сама же Тора сравнивается с огнем, т. к. „like fire, the Torah is freely available to all“ (L. Jacobs, *The Jewish Religion*, *op. cit.*, 167). Ср. с пушкинским „Пророком“, где поэту шестикрылый серафим вместо сердца „угли, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул“, а Бог взымает его глаголом жечь сердца людей. (См. S. Shvarzband, „Еще раз о библейском источнике стихотворения „Пророк“ Пушкина (несколько замечаний по истории текста)“, *Jews & Slavs, Jerusalem – St. Petersburg* 1993, т. 1, 176–188.)

неожиданных совпадений – тематических и детальных – и с первым романом Умберто Эко *Il nome della rosa*, опубликованным в 1980 году. В 1986 году по роману Эко был сделан одноименный фильм, благодаря которому роман становится достоянием массовой культуры. Русский перевод романа *Имя розы* выходит в 1989 году. Тему его можно было бы сформулировать коротко так: стремление к знанию и жажда правды опасны, обманчивы и крайне иллюзорны. Нужно заметить, что тематически романы Эко и Толстой смыкаются: центром тяжести обоих является Книга. В обоих романах фигурируют огромные тайные библиотеки, надежно скрытые от непосвященных в высоких башнях. У Эко от прикосновения к запретной старинной книге загадочно погибают монахи. Выясняется, что страницы книги пропитаны смертоносным ядом. У Толстой тот же мотив: народу внушается страх перед старопечатными книгами, считается, что они ядовиты и от прикосновения к ним человек немедленно погибает. В обоих романах действие разворачивается вокруг поисков книг, особенно – определенной книги (у Эко это вторая часть *Поэтики* Аристотеля, которая существует в единственном на свете экземпляре). В обоих романах книги становятся причиной гибели людей. И *Имя розы* (фильм), и *Кысь* кончаются аутодафе; в конце обоих романов в результате гигантских пожаров библиотеки с их бесценным содержимым полностью сгорают. Подчеркнуто мрачный антураж, звероподобные персонажи, суеверие и дикость – все это имеет место в обоих романах. У Эко события разворачиваются в монастыре, где живут монахи-бенедиктинцы, занятые переписыванием старых текстов. Подчеркнуто нерусское имя героя Толстой – Бенедикт (от лат. *Benedictus* – благословенный); как мы помним, он сначала тоже переписчик. Все это не может быть лишь случайными совпадениями. Даже куры фигурируют в обоих романах: у Эко с помощью яиц, снесенных черными курами, ворожат, а черный петух служит поводом для ареста инквизиторам. У Толстой куры-мутанты несут черные яйца, из которых варят квас. В фильме один из персонажей, горбатый урод Сальватор, ловит крыс, которых ест. В *Кыси* мыши – основной продукт питания у населения бывшей Москвы. Начало работы над романом *Кысь* совпадает по времени с выходом на экран *Имени розы*. Может быть, фильм был толчком, с которого начался роман Толстой? Может быть, и образ Коти, огромного (Бенедикту он по колено) кота-мутанта с голым розовым хвостом, мордой с хоботком и детскими пальчиками, а также сама Кысь навеяны ужасающим котом, воплощением Люцифера, „величиной с большую собаку, с огромными горящими глазами и с кровоточивым языком, свисавшим до пупа, с коротким твердым хвостом“²⁵ из романа Эко?

²⁵ У. Эко, *Имя розы*, СПб 2003, с. 406. В мифологии и в литературе кот нередко выступает „как воплощение (или помощник, член святи) черта, нечистой силы. [...] Особенно

Таким образом, очевидно, что главным предметом романа *Кысь*, его неоспоримым центром тяжести является Книга, вернее, та роль, которую она играет в судьбе и жизни героя. С того дня, когда Бенедикт прикасается к первой старопечатной книге и успевает прочесть „и свеча, при которой она читала полную тревог и обмана жизнь...“,²⁶ существование его радикально меняется. В тот же день, кстати, он делает предложение и получает согласие невесты. Второе свидание Бенедикта с книгой происходит уже в доме невесты, во время его первого визита к будущим родственникам. Сначала он в ужасе: ведь книги смертельно опасны! Но потом, получив разрешение тестя, Бенедикт полностью отдается чтению. Молодая жена, как, впрочем, и весь материальный и прочий мир, просто перестают его интересовать. Он, перефразируя Блока, любит рифмованные и нерифмованные речи о земле и небе в тысячу раз больше, чем землю и небо.²⁷ Открыв для себя книги, Бенедикт читает буквально все подряд. С одинаковым рвением и интересом читает он Сартра и Хлебникова, Хвостенко и Шекспира, *Детей Арбата* и *Деток в клетке*, *Евгения Онегина* и Евгения Примакова. Примечательно при этом, что Бенедикт все время ищет „главную книгу“, в который было бы написано, „как жить“.²⁸ Парадокс только состоит в том, что, разыскивая эту „главную книгу“, герой из безвредного, наивного и даже симпатичного хвостатого невращающегося сначала просто в паразита-нахлебника, а потом – последовательно – в безжалостного убийцу, предателя и палача в красном балахоне и со смертоносным крюком в руках. Он полностью теряет человеческий облик, жертвует душой (пусть зачаточной) ради книг, которые воистину играют роковую роль в его судьбе. Одержимость книгой приводит его не к духовному росту, не к спасению и просветлению, как можно было бы ожидать, а к полной физической и моральной деградации. Он становится душегубом, Кысью, тем, чего сам боялся больше всего на свете. Так выворачивается наизнанку привычный штамп. Можно еще предположить, что „главная“ книга, которую Бенедикт ищет, сам того не ведая, – это Библия. Слово „библия“ происходит от греческого „библиос“, „библион“, означающего „книга“. Но

устойчивы ассоциации кошек с силами зла“ (*Мифы народов мира*, М. 1988, т. 2, 11).

²⁶ *Кысь*, 144. Это слегка искаженная цитата из *Анны Карениной* Л. Толстого – „И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла.“ (Цит. по: Л.Н. Толстой, *Собр. соч. в двадцати томах*, М. 1963, т. 9, 389.) Примечательно, что „книга“ и „жизнь“ оказываются синонимичны и взаимозаменяемы.

²⁷ Имеется в виду стих А. Блока „Когда вы стоите на моем пути“, 1908 г. (А.А. Блок, *Полн. собр. соч. и писем в двадцати томах*, М. 1997, т. 2, 198.)

²⁸ Бенедикт словно являет собой воплощение образа „идеального читателя“ с его „жить надо по книге“, возникшего в результате процессов, о которых пишет Ю. Лотман в разделе „Литература и читатель: жизнь по книге“ (см. „Литература в контексте русской культуры XVIII века“, *op. cit.*, 133-144).

именно Библия, главная Книга, включающая в себя свод морально-этических законов, Бенедикту не попадает, и „как жить“ он так и не узнает.

Итак, роман Толстой полемизирует с одной из центральных мифологем российского сознания: книга как культ/фетиш, как будто „развенчивая“ ее. Но есть еще и конкретный текст, против которого, с моей точки зрения, направлено полемическое острие романа. Начало работы над *Кысью* – это 1986 год. А в 1987 году Иосиф Бродский получает Нобелевскую премию по литературе и приезжает за ней в Стокгольм. Приезжает он не с пустыми руками. Нобелевская лекция, прочитанная Бродским в декабре 1987 года, – это самая настоящая декларация культа книги, своего рода кульминация развития темы, гимн книге и апофеоз книжной культуры, где литературе приписывается роль спасителя человечества вообще и человека в частности. Там же утверждается примат эстетики над этикой (эстетика – мать этики, понятия „хорошо“ и „плохо“ – понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории „добра“ и „зла“.²⁹) Бродский перефразирует знаменитое замечание Достоевского „красота спасет мир“ в „поэзия спасет человека“.³⁰ Он, в частности, пишет: „Я не призываю к замене государства библиотекой – хотя мысль эта неоднократно меня посещала – но я не сомневаюсь, что, выбирай мы наших властителей на основании их читательского опыта, а не на основании их политических программ, на земле было бы меньше горя.“³¹ Или: „И среди преступлений этих [преступлений против литературы – С.П.] наиболее тяжким является не преследование авторов, не цензурные ограничения и т. п., не предание книг костру. Существует преступление более тяжкое – пренебрежение книгами, их нечтение.“³² И еще: „[...] я полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительней, чем для человека, Диккенса не читавшего.“³³

Лекция эта не могла не привлечь внимание Толстой. Бродского она высоко ценит, познакомилась с ним в 1988 году во время поездки в Америку, посвятила ему пронзительное эссе-некролог „Памяти Бродского“.³⁴ Так вот: литературному кредо поэта Толстая противопоставляет свой роман,

²⁹ Цит. по: И.А. Бродский, *Форма времени: Стихотворения, эссе, пьесы в двух томах*, Минск 1992, т. 2, 450-462.

³⁰ *Ibid.*, 455. Следует отметить, что А. Солженицын, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1970 году, свою лекцию выстраивает вокруг этой же фразы Достоевского – „Мир спасет красота“. По Солженицыну, литература, носительница правды, должна одержать победу над злом и насилием, царящими в мире. (*Новый мир*, 7, 1989, 135-145).

³¹ И. Бродский, *op. cit.*, 456-457.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, 458. Здесь трудно не вспомнить Садама Хусейна, в земляном укрытии которого американские солдаты нашли *Преступление и наказание* Достоевского.

³⁴ Т. Толстая, Н. Толстая, *Сестры: Сборник*, М. 1998, 174-185. Эссе написано в 1996 году, в год смерти Бродского.

целые фрагменты которого откровенно полемичны и даже пародийны по отношению к Нобелевской лекции. Вопреки категоричным высказываниям Бродского, Бенедикт, прочитавший все, что можно, хладнокровно предает и убивает – во имя книги. Сопоставим несколько цитат из лекции и из романа.

Лекция: „Я не думаю, что я знаю о жизни больше, чем любой человек моего возраста, но мне кажется, что в качестве собеседника книга более надежна, чем приятель или возлюбленная.“³⁵

Кысь: „Ты, книга, чистое мое, светлое мое, золото певучее, обещание, мечта, зов дальний, – [...] Ты, Книга! Ты одна не обманешь, не ударишь, не обидишь, не покинешь!“³⁶

Лекция: „Многое можно разделить: ложе, убеждения, возлюбленную – но не стихотворение, скажем, Райнера Мариа Рильке.“³⁷

Кысь: [Бенедикт у входа в заветную библиотеку – С. П.]: „У Бенедикта немножко подкашивались и ослабевали ноги, будто шел он на первое свидание с бабой. С бабой!.. – на что ему теперь какая-то баба, Марфушка ли, Оленька ли, когда все мыслимые бабы тысячелетий: Изольды, Розамунды, Джульетты с их шелками и гребнями, капризами и кинжалами – вот сейчас, сейчас будут его, отныне и присно, и во веки веков... Когда он сейчас, вот сейчас станет обладателем неслыханного, невообразимого...“³⁸

Лекция: „[...] книга является средством перемещения в пространстве опыта со скоростью переворачиваемой страницы.“³⁹

Кысь: „Все у Бенедикта в книгах, словно бы в тайных коробах, свернутое, схороненное лежит: и ветер морской, и луговой, и ненастный, и снеговой, и который зефиром звать, и синий, и песчаный! Ночи беззвездные и ночи страстные, ночи бархатные и ночи бессонные! Звезды золотые, и серебряные, голубые, зеленые, [...] и путеводные! Все ладьи всех морей, все поцелуи, все острова, дороги все и города, куда дороги те ведут, все городские ворота, щели и лазы, подземелья, башни, флаги, все кудри золотые, все косы черные как смоль, оружия гром и бряцанье, облака, степи, да опять ветры, да опять моря да звезды! Ничего ему не надо, все тут!“⁴⁰

Как видно из приведенных примеров, книга – как в лекции, так и в романе – являет собой субститут бытия вообще и женщины в частности.

³⁵ И. Бродский, *op. cit.*, 456.

³⁶ Т. Толстая, *Кысь*, *op. cit.*, 263.

³⁷ И. Бродский, *op. cit.*, 452.

³⁸ Т. Толстая, *Кысь*, *op. cit.*, 343.

³⁹ И. Бродский, *op. cit.*, 456.

⁴⁰ Т. Толстая, *Кысь*, *op. cit.*, 237-238.

(Кстати, тот же мотив – книга как субститут женщины – звучит и в автобиографических повестях Горького.) Книга с успехом служит заменой всему, как будто ничего не требуя взамен и ни в чем не разочаровывая преданного ей читателя. Но если для Бродского литература вообще и поэзия в частности являются панацеей от всех зол и бед и высшей благодатью, то в романе *Кысь* дело обстоит иначе. Здесь книга сама по себе никого ничему не учит, никуда не ведет и ни от чего не спасает. Она оказывается не волшебной палочкой-выручалочкой, а, скорее, демоном-искусителем: ведь именно библиомания, как говорилось выше, приводит Бенедикта к духовной и физической деградации.

Но если Толстая не принимает программу, артикулируемую Бродским, что же она ей противопоставляет? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, какую роль в романе играет Истоппик Никита Иванович, наставник Бенедикта. С самого начала он пытается внушать своему воспитаннику элементарные основы морали. Занятие это совершенно неблагодарное, Бенедикт не способен понять даже номинального значения этих слов, но Никита не сдаётся. Он жаждет „братства, любви, красоты. Справедливости. Уважения друг к другу. Возвышенных устремлений. [...] чтоб место мордобоя и разбоя заступил разумный, честный труд рука об руку. Чтобы в душе загорелся огонь любви к ближнему.“⁴¹ Он же учит Бенедикта, что „нравственные законы, при всем нашем несовершенстве, predeterminedены, прочерчены алмазным резцом на скрижалях совести! Огненными буквами – в книге бытия! И пусть эта книга скрыта от наших близоруких глаз, пусть таится она в долине туманов, за семью воротами, пусть перепутаны ее страницы, дик и невнятен алфавит, но все же есть она, юноша! светит и ночью!“⁴² Выслушав эту проповедь, Бенедикт маниакально начинает искать книгу, в которой написано „как жить“. Когда же он в очередной раз пытается выпросить „книгу“ у Никиты, тот отвечает, что книги ему бесполезны, поскольку Бенедикт не освоил жизненной азбуки: „есть понятия тебе недоступные: чуткость, сострадание, великодушие [...], честность, справедливость, душевная зоркость, [...] взаимопомощь, уважение к другому человеку... Самопожертвование...“⁴³ Важно отметить, что эти строки почти дословно совпадают с фрагментом из программного эссе Толстой „Интеллигент“, где, в частности, говорится:

Интеллигентность – это альтруизм, это нравственный императив – и совестьливость, и грызущее чувство ответственности, – и за страну, за

⁴¹ Ibid., 167.

⁴² Ibid., 195. Первая часть цитаты – явная переключка с книгой Иова: „О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом, – на вечное время на камне вырезаны были!“ (Библия, Книга Иова, XIX, 23-24.)

⁴³ Ibid., 314.

будущее, за свой народ и не свой народ, и боязнь причинить зло, и душевная зрячесть, и жалость, и милосердие, и умение радоваться за другого, и плакать о другом, и мысль: „это, наверно, я виноват“, и порыв: „чем помочь?“, и жертвенность, и благие намерения, те самые, которыми, по слововице, вымощена дорога в ад. [...] Образованность, приобщение к мировой культуре лишь облегчают дело, но гарантией очеловечивания не являются. Интеллигентность – мучение, невидимый, добровольный, бескорыстный душевный труд.⁴⁴

Эти строки – в совокупности с высказываниями Никиты Ивановича, рассыпанными по всему роману – мне и представляются ключом к *Кыси*, где декларируется первичность нравственного абсолюта и утверждается примат этики над эстетикой, а не наоборот, как в Нобелевской лекции Бродского. Вспомним *Собачье сердце* Булгакова, где профессор Преображенский, демонстрируя публике обрастающего шерстью Шарикова, объясняет, что говорить „это еще не значит быть человеком“.⁴⁵ Толстая идет дальше и своим романом дает понять, что читать – это тоже еще не значит быть человеком. С другой стороны, в романе в лице Никиты воспевается интеллигенция – жертвенная и наивная, великодушная и трогательная. Интересно, что после взрыва, уничтожившего цивилизацию, выживают две категории людей: одни („бывшие“, интеллигенция) перестают стареть, застыв в том возрасте, в котором их застал Взрыв, другие же („перерожденцы“, плебс) превращаются в грязных, жестоких человекообразных животных, напоминающих еху из четвертой части романа Дж. Свифта (*Travels Into Several Remote Nations of the World. By Lemuel Gulliver, 1726*). Таким образом, взрыв как будто обнаруживает, обнажает и усиливает скрытое, воздаст по заслугам. Вот и Никита (имя это, кстати, восходит к греч. νικω – побеждать) после взрыва получает дар творить огонь и дарить его людям. Он – подобно Богу, явившемуся горящим кустом перед Моисеем – горит и не сгорает. Он выходит победителем в схватке с нечистью, оказывается – вместе со своим другом Львом Львовичем, этаким Вечным Жидом – бессмертным, отрывается от земли и возносится в небеса. (Бенедикт же остается на земле.) Роман заканчивается на высокой ноте, созвучной, например, *Мастеру и Маргарите* Булгакова и *Приглашению на казнь* Набокова, где смерть героев также означает их переход в высшее инобытие. Но знаменитое булгаковское „рукописи не горят“ трансформируется в *Кыси* в нечто иное. У Толстой книги как раз сгорают, не горит у нее Человек, исповедующий незыблемые, неизбежные и вечные законы Морали.

⁴⁴ Толстая Т., Толстая Н., *Сестры: Сборник*, оп. cit., 164.

⁴⁵ М. Булгаков, *Собачье сердце*, London 1968, 91.

Проф. П.-А. Будин в статье „Rysk uppgörelse med auktoritära diktargöster“⁴⁶ („Россия разбирается с авторитаризмом в литературе“) отмечает, что современные российские писатели и поэты сознательно и последовательно отказываются от традиционной для них мессианской роли пророков, глашатаев правды и носителей истины в последней инстанции, не желают быть властителями дум. Так, он пишет: „Писатели перестали быть проповедниками, литература лишилась своего традиционного культового статуса“⁴⁷ [перевод мой]. С его точки зрения роль и значение литературы и литератора в современной России пересматривается, литературный текст уже не трактуется как концентрация духовного опыта или проявление высшего знания. Несомненно, тенденция, о которой говорит П.-А. Будин, имеет место. Д. Пригов и Л. Рубинштейн, В. Сорокин и Л. Петрушевская, Вик. Ерофеев и В. Друк, упоминаемые в статье, – все они, их творчество и подход к нему служат примерами вышеуказанных процессов.⁴⁸ Но насколько они – эти процессы – долговечны, приживутся ли на российской почве? Сказать трудно. Показательно еще и то, что имя Толстой, одного из самых значительных литераторов России, в статье не называется. И это, как мне кажется, не случайно. Дело в том, что процессы эти отнюдь не однозначны. Несмотря на то, что они фиксируются российской критикой уже с начала 90-х годов, на страницах газет и журналов ведется интенсивная дискуссия, в центре которой – место и назначение литературы в обществе, а также роль и назначение литератора.⁴⁹

⁴⁶ P.-A. Bodin, „Rysk uppgörelse med auktoritära diktargöster“, *Svenska Dagbladet*, 6/3 2004.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Так, в телевизионном интервью 9 октября 2001 г. (ТВ 6) В. Сорокин говорит об отсутствии у него социальных и политических претензий; он заявляет, что не может ничего учить, ибо не обладает каким-то высшим, исключительным знанием. Вспоминая советские времена, он сравнивает литераторов с раздувшимися лягушками, преисполненными ощущения собственной важности.

⁴⁹ См., напр., статью Вик. Ерофеева „Поминки по советской литературе“ (*Литературная газета*, 27, 1990), где он проблематизирует чрезмерную социальную ангажированность русской литературы и обвиняет ее в „гиперморализме“. В результате, по его мнению, поэт в России „оказывается меньше, чем поэт“, он оказывается „ниже именно как литератор, не чувствуя особенностей художественного языка и образного парадоксального мышления.“ Ерофеев высказывает надежду на появление новой литературы, „которая будет не больше, но и не меньше, чем литература.“ По тому же пути идет А. Агеев. В своей статье „Конспект о кризисе“ (*Литературное обозрение*, 3, 1991, 15-21) он говорит о давних утопических притязаниях русской литературы, о том, что их реализация в XX веке привела Россию к катастрофе. Он приветствует секуляризацию и демократизацию литературы, призывая ее отказаться от „претензии на моральное предводительство, от монументального идеологического пафоса.“ (*Ibid.*, 19). В. Курицын утверждает, что российское „общество перестает быть литературо-центричным. Писатель, будь он трижды великим, уже не воспринимается как духовный вождь. Это признают, пожалуй, все. Но далеко не все хотят признать, что изменения эти – позитивны, или, вернее, просто естественны. Словесность постепенно займет подobaющее ей место во втором десятке общественных интересов: при свободе печати не надо будет жадно ловить святое слово правды и справедливости, пробивающееся из-под глыб.“ (*Знамя*, 1, 1992. Цит. по: Л. Аннинский, „Конец литературы?“, *Дружба народов*,

Бесспорным является тот факт, что в *Кыси* ироническому или даже саркастическому переосмыслению подвергается множество клише, присущих советской и постсоветской эпохе, в том числе и литературных. Такое впечатление, что абсурдизируется вообще все русское, российское бытие, его сознание и штампы. „Книга как культ“ является одним из таких штампов, общим местом коллективного российского сознания. Но с другой стороны, утверждая первичность этического начала по отношению к эстетическому и выдвигая такую „позитивную“ программу, Толстая все-таки выступает в традиционной для русского писателя дидактической роли. „Поверхностность“ романа, о которой говорилось в начале статьи, на проверку оказывается лишь отвлекающим приемом. Появление книги с подобной установкой в посткоммунистическом российском обществе, утратившем элементарные представления о нравственности и пребывающем в моральном вакууме, глубоко симптоматично. Набоков, которого не раз обвиняли в безыдейности, равнодушии и легкомыслии, так высказался о себе:

In fact I believe that one day a reappraiser will come and declare that, far from having been a frivolous firebird, I was a rigid moralist kicking sin, cuffing stupidity, ridiculing the vulgar and cruel – and assigning sovereign power to tenderness, talent, and pride.⁵⁰

Эти слова можно по праву отнести и к творчеству Толстой.

8, 1992, 244.) К явлениям того же ряда, хотя и курьезным, следует отнести статью А. Дугина под симптоматичным названием „Литература как зло“ (www.arctogaia.com/public/txt.liter.htm <2005-11-28>) Однако звучат и другие голоса. Так, Ю. Кублановский по-прежнему утверждает, что „русские литераторы и философы учат понимать творчество именно как *служение*. Не публике, не идеологии, не благополучию, но Высшей Истине, наполняющей земное существование [...] смыслом.“ („Комплекс Отечества. Юрий Кублановский в беседе с Олесей Николаевской“, *Литературная газета*, 13, 1997.) В. Шендерович высказывается в том же духе: „Журналистика как часть писательства – это первая древнейшая профессия, ибо первым, кто пытался с помощью слова преобразовать мир к лучшему, был Господь Бог. Отделять свет от тьмы – в этом и заключается наша работа.“ („Виктор Шендерович: Злой мальчик, который всех видел...“, *Литературная газета*, 40, 2001.) Показательно, что цитата из А. Чехова „Настоящий писатель – то же, что древний пророк: он видит яснее, чем обычные люди“ является по сей день одной из самых расхожих тем школьных сочинений.

⁵⁰ V. Nabokov, *Strong Opinions*, New York 1973, 193.